

Всё живое

Дождь пробежал—грибной, нечастый.
Играет пескарями брод,
и, как овец печальный пастырь,
пасёт три тучи небосвод...

Я в лес нырнул, я стал невидим—зелень!
Кромсает небо пахарь-самолёт...
Встаёт заря—как петушиный гребень,
и самолёт—как клюв, её клюёт!

Утро в деревне

Самолёт позолоченной бритвой
перерезал окошко моё.
За окном—воробьиная битва,
крест полёта... поёт самолёт...
Вянет в банке букет полевой...

И такое волнение, братцы,
словно в небо нырнул с головой,
а до дна—ну никак не добраться!

Вновь, как слепец переходный,
как нищий, что встать не в силах,
чувствую эту—всей кожей—
жизни крепчайшую силу!

Глубже всё с каждым годом
страшное это родство—
с ивой над светлым бродом,
с этой пожухлой травой,
с полой водой полевой,
с ветром, которым дышу...

Долу склоняюсь головою,
я ни о чём не прошу.

Жизнь эта—зла, как ревность,
быстрая, как ручей.
Связь эта—как откровенность
в горьком настое ночей.
Словно я, всем открытый,
жив только тем, что люблю:
домик на Вятке забытый,
слышишь ли песню мою?

Сенокос, сенокос!
Земляничник берёз,
вот и ящерка—золотом кожаца...

Сенокос, сенокос...
Не задеть бы стрекоз
да птенцов желторотых—множество!

И откуда он,
«сторожок»: не убий!—
он откуда?

Усталости наперечь,
я рисую серпом—
росный след голубик,
и толчётся мошка,
точно наволочь.

Вновь гнездо! Обойду, окошу, сберегу—
словно сердце родное
в повилке...

Приготовлю сторожку, как душу свою,
травянистый душистый навильник.

Весёлых песен мало,
а грустных—не унять.
Наверно, что-то стало
в народе убывать...

В озёрах глаз опальных
высоты неба злы,
и кажутся мне сталью
древесные стволы.
И листопад кровав их,
штыки кустов—остры...
Сжигали часто правых
российские костры.

С поникшей головою
бреду я наугад
и чую за собою
ольхи тяжёлый чад.
Весёлых песен—в меру,
а грустных—не унять...
Незримо стала вера
в народе убывать.

Побег

Средь бела дня цыганит мне сорока,
и опроретью мчатся поезда.
Стрясётся вдруг: всё брошу я до срока,
уюду вдаль, уеду навсегда!
На кой мне ляд простор России нашей,
и грубость нежная хмельных моих друзей,
собак голодных стаи, и шабашки,
и Мавзолей, и Ленина музей?..

«Люфтганза», «Боинг», Шёнефельд... таможня.
Потом—иноязычья маета.
У немцев всё изысканно, но сложно:
кладбищенская душит чистота.
И за неделю—вдруг предельно ясно:
в чужом дому и брага не сытна.
И от себя не убежишь—напрасно!..
Калина горькая—чужая сторона!

Проснусь в ночи—помятый, некрасивый,
такой как есть, каким останусь впредь...
И вновь пойму, что я люблю Россию,
в которой счастье—жить и умереть.

Тоска по деревне в Москве

Среди широких зыбких январей
есть тополя моей родной Смирновки.
Они стоят, как мачты кораблей,
в злой индеви—как будто бы в обновке.
Золою белою вся выжжена дотла
и выстлана вся острой хлебной остью,
деревня умирала—умерла...
Я помню эти белые погосты,
осыпанные мёртвою листвою
вдали от трасс...
А здесь—души не слышно!
Московский пятизвёздочный «Савой»,
многоэтажек мокнущие крыши—
всё суета, всё тащит за собой,
маня афишами на сорные игрища.
...Я мучаюсь в Москве, я сам не свой—
а ветер в тополях родимых свищет...

Хоровод дождевой облаков,
и стоят тополя, как колонны.
Из безвременья—в омут веков
поднимают свой гомон вороны...

Всё спешить от забот до забот,
как прожить каждый день—не чаешь.
Мчится молодость—поезд тот,
на который всегда опоздаешь.
За заботами сердце червит...

Но удержит меня, бедолагу,
коренная система любви
да к земле крестьянская тяга.

Мы разные, а путь у всех один:
еловая постель,
рубаша мха да шишки.
И, сколько огород ни городи,
все помыслы—в достатке да в сынишке...

Дни чередой проходят неизменно,
пуховым снегом дума шелестит...
Ты не один, поверь,
теперь в окно глядишь,
на колченогий стул склонив колено.

Под какую корявой звездой
ты, Россия, плывёшь к непокою?
Неужель, чтоб ожить, тебя мёртвою
сбрызнут водой,
а потом уж—живую?

Я помню, мама, ночь разлива
с огнями станций в глубине...
Твои глаза, как ветки ивы,
росой проплакали по мне.

Я помню запахи, и речи,
и до разъезда тракт прямой,
твой плат, накинутый на плечи,
на плате—чернь с простой каймой.

Опять мы вместе—и без сна я...
Но как тревожно мне взрослеть!
Позволь мне, милая, родная,
твою ладонь в моей согреть.

Не виделись мы долго, мама,
я письма слал, я так скучал...
Сто раз читал я телеграмму
и с ней зарю вчера встречал...

А робкий месяц через раму
льёт тонкий свет на нас двоих.
Я ничего не знаю, мама,
роднее чутких рук твоих.

Они теплом меня дарили,
учили сердцу и уму.
Они, они меня кормили
в краю чужом, в чужом дому.

Они сжимали расстоянья,
снимали боль, давали пить...
Но, обречённый расставанью,
тоски не мог я утолить.

Ты так по-доброму красива,
так по-хорошему горда,
что кажется порой: Россия,
как ты—вечна, как ты—седа...